

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ: ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

Кто думает, что естественным выходом
из страдания является смерть,
тот имеет неправильное представление
о возможностях человеческого сердца.

Андрей Платонов

Худлитовский в синей обложке сборник «В прекрасном и яростном мире», отстоящий на несколько десятков лет от его предыдущей книги, обрушился в 1965 году на нас, читателей, прямо, как поток, прорвавший плотину платоновского «Котлована». Однако прошли ещё годы, прежде чем появились другие его вещи: написанный в 1930 году «Котлован» и повесть «Ювенильное море», созданная чуть позже. На западе они вышли соответственно в 1969 и 1979 годах, а в России — лишь в 1987 году, — и принесли писателю запоздалую, но мировую славу. Теперь уже навсегда...

Измученный борьбой с советскими литературными генералами, Андрей Платонов в 1937-41 годах выступает только как литературный критик.

Ожидая мобилизации, Платонов несколько месяцев провел в Уфе, куда вместе с семьей был спешно эвакуирован из столицы осенью 1941 года, в напряженную пору генерального наступления немцев на Москву. В его квартире остались рукописи, частью законченные, частью же незавершенные, которые потом исчезли бесследно. Вероятно, собираясь в долгую дорогу, он не придал им в новом положении большого значения.

В Уфе, пока не пришел вызов из Союза писателей на службу в армейской печати, Платонов встречается с прибывающими с фронта ранеными. В одном из госпиталей он знакомится с будущим героем своего первого военного рассказа «Броня». С этим рассказом, да еще с запиской Василия Гроссмана, содержавшей просьбу принять «под свое покровительство этого хорошего писателя», и появился Платонов в редакции «Красной звезды». Рассказ попал на газетную полосу 5 сентября 1942 года и сразу же обратил на себя внимание: автора пригласили на работу в Военмориздат, однако он отказался, остался в газете с условием почаще бывать на фронте.

Виктор Полторацкий, знавший Платонова по Курской дуге летом 1943 года и по боям на Украине весной 1944 года, вспоминал впоследствии:

«Во внешности Платонова было что-то от мастерового, рабочего человека, в силу необходимости ставшего солдатом, чтобы защитить свою родину... Говорил глуховатым, низким голосом, спокойно и ровно.

Но порою бывал и резок, колюч, всегда абсолютно нетерпим к фальши и хвастовству...»

Из-под Курска Платонов пишет жене:

«Невнятные звуки возникают во тьме, около нашей землянки, а потом снова безмолвие. Иногда во мраке светятся ракеты, висят они мучительно долго, освещая все зеленым, иногда синим светом, но потом все-таки гаснут. И странно тебе покажется, но мне в такие ночи не так грустно. Мне кажется, что мой сын где-то там, в этом сине-зеленом мраке...»

В годы войны Платонов особенно много размышлял о страдании и смерти — к этому предрасполагало и народное горе, и обстоятельства личной судьбы. Не раз попадал он в трудные фронтовые переделки. Похоронил сына Тошу, погибшего от заработанного в сталинских лагерях туберкулёза, тестя, который умер в блокадном Ленинграде.

«Я сделал здесь на войне столь важные выводы из... смерти, — пишет он в другом письме к жене тем же летом 1943-го, — о которых ты узнаешь позже, и это тебя немного утешит в твоём горе...»

После освобождения Воронежа в 1943 году Платонов навестил родные края. Город, называвшийся некогда «младшим Петербургом», встретил его развалинами, гарью и пеплом. Особенно пострадали окраинные слободы Чижевка и Ямская, где прошло детство писателя, где стояла семейная изба Климентовых, а за нею открывались лопуховые подворья, древний Задонский тракт... В городе он встретил дальних родственников, но не нашел отца: 72-летнего, оглохшего и полуослепшего старика немцы угнали вместе с другими жителями на Запад. Он отыскался уже после войны в Бессарабии...

За три года и два месяца работы спецкором на фронте Платонов написал едва ли не больше, чем за предвоенные десять лет. Его рассказы и очерки выходили, кроме газет «Красная звезда» и «Труд», в журналах «Новый мир», «Октябрь», «Знамя», «Краснофлотец», «30 дней» и других. Несколько раз отдельными книжками печатались его рассказы. Все их темы возникали из тяжкой повседневности фронта и тыла, которая под пером художника обретала возвышенный, священный характер.

Художественные открытия Платонова в военной прозе оценили в то время немногие: одни корили его за мистику, другие находили у него упрощенные представления о смерти, подвиге, смысле жизни. В статье «Литературные выкрутасы» критик заявлял: «Вместо того чтобы писать правду жизни, он сочиняет нелепых, несуществующих людей, навязывает им полумифические, кликушеские мыслишки, искажая этим облик людей нашей Родины».

Платонов действительно странен, условен, фантастичен, — можно сказать и так, — но он жертвует внешним, видимым и самоочевидным ради безукоризненно точной правды нравственной и психологической...

Летом 1944 года в звании майора административной службы Платонов находился в войсках, наступавших в районе Львова. В один из погожих дней на участке фронта установилось затишье. В расположении войск обнаружился пруд с чистой теплой водой, и на его берегу тотчас появились солдаты... Платонов вызвался плыть с одним из солдат наперегонки: мол, мы, журналисты, не только карандаш умеем в руках держать. Когда они доплыли уже почти до середины пруда, неожиданно появился немецкий «Хейнкель», накрыл пруд черной тенью, по воде прошла пулеметная очередь: немец в упор стрелял по пловцам. Платонов не заметил, как утонул солдат. Не успел он выбраться на берег, как его ударило воздушной волной и сбило с ног. Он потерял сознание...

Событие это не прошло для писателя бесследно: в его легких образовалась каверна. Он не обратил внимания на кашель, лихорадку, частое повышение температуры и продолжал выезжать на фронт. Осенью 1944 года в «Красной звезде» получили телеграмму: «Платонов заболел. Последние дни лежит. Работать не может. Как поступить?»

Вскоре, однако, писатель почувствовал себя лучше и вернулся к своим обязанностям военкора. Перед самым окончанием войны товарищи по «Красной звезде» выхлопотали ему путевку в санаторий, но он не хотел лечиться: «Право, неловко! Война еще не кончилась, а я — в санаторий... Не по душе мне эта затея...», и хотя уступил настойчивым уговорам, но до санатория не доехал. Прослышав, что один из его полков переходит в наступление, Платонов — без командировочного документа, без продовольственного аттестата — присоединился к части, а через некоторое время, когда в «Красной звезде» не на шутку встревожились (пропал человек — нет ни в санатории, ни в газете), он, смущенный, появился на пороге редакции и на вопросительные взгляды собратьев по цеху виновато отвечал: «[мой полк] наступал...»

В 1946 году Платонов демобилизовался. Туберкулез, вызванный ранением, прогресси- ровал. В паузах между больницами и санаториями Платонов пытается работать. На фотогра- фиях этих лет, даже с маленькой дочкой Машей, он не выглядит счастливым. Когда «Новый мир» напечатал его «Возвращение», критик Василий Ермилов (позже запятнавший себя де- магогическими выпадами против Ильи Эренбурга) объявил рассказ клеветническим.

Говорят, в эти годы Платонова видели во дворе Литературного института с метлой двор- ника. Из литературы по разным и понятным причинам его имя исчезает — и надолго.

5 января 1951 года Андрей Платонович Платонов скончался...

Долгое время мне не удавалось обнаружить никаких материалов о последних днях пи- сателя. Но вот, наконец, я нашел свидетельство Юрия Нагибина, который был на похоронах Платонова. В своём дневнике Нагибин писал:

«Этого самого русского человека хоронили на Армянском кладбище... Гроб поставили на землю, у края могилы. Плакал младший брат Платонова, моряк, прилетевший на похороны с Дальнего Востока буквально в последнюю минуту. У него было красное, по-платоновски сим- патичное лицо. Мне казалось: он плачет так горько потому, что только сегодня, при виде боль- шой толпы, пришедшей отдать последний долг его брату, венков от Союза писателей, Детгиза и «Красной звезды», он поверил, что брат его действительно был хорошим писателем...

Затем вышел Ковалевский и сказал голосом ясным, твердым, хорошо, по-мужски взвол- нованным:

— Андрей Платонович! — это прозвучало, как зов, который может быть услышан, а возможно, и был услышан. — Андрей Платонович, прощай. Это простое русское слово прощай, прости — я говорю в его самом прямом смысле. Прости нас, твоих друзей, любивших тебя сильно, но не так, как надо было любить тебя, прости, что мы не помогли тебе, не поддержали тебя в твоей трудной жизни! Андрей Платонович, прощай!...

И каждый ощутил в своей душе — каюсь, я чуть было не сказал стыд, — умиление и восторг, и чувство собственного достоинства. Вот можно же такое сказать! И никто не схватил Ковалевского за руку, и черный ворон не слетел к отверстой могиле!..

Потом гроб заколотили и неуклюже, на таях, стали спускать в могилу. Его чуть не пос- тавили на попа и лишь с трудом выровняли. Ковалевский хорошо и трудолюбиво, как и все, что он делал на похоронах, лопатой стал закапывать гроб...

— А Фадеев тут есть? — спросил меня какой-то толстоногий холуй из посторонних на- блюдателей.

— Нет, — ответил я и самолюбиво добавил, — Твардовский есть...

Твардовский во всех своих действиях был безукоризнен. Он точно вовремя обнажил го- лову, он надел шапку как раз тогда, когда это надо было сделать. Он подошел к гробу, когда стоять на месте было бы равнодушием к покойнику, он без всякого напряжения сохранял не- подвижность соляного столба, когда по народной традиции должен пролететь тихий ангел. Он даже закурил уместно — словно дав выход суровой мужской скорби...»

А дома Нагибин достал маленькую книжку Платонова, развернул «Железную старуху», прочел о том, что червяк «был небольшой, чистый и кроткий, наверное, детеныш еще, а мо- жет быть, уже худой старик». И заплакал...